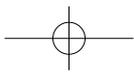
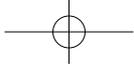


аркадий драгомощенко

на берегах исключенной реки



АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

**НА БЕРЕГАХ
ИСКЛЮЧЕННОЙ РЕКИ**

поэтическая серия **объединенного гуманитарного издательства** и клуба «проект о-г-и-»

О-Г-И
Москва 2005

Исключение реки

Нога книга «На берегах исключенной реки» была еще не дописана («вроде бы будет какое-то название»), Аркадий Драгомощенко говорил, что это — отчеты о погоде.

Как сводка погоды, поэзия адресована всем — и никому в частности, но каждого касается лично, и «касается» здесь следует читать как реальное, физическое действие, как дождь в лицо или солнце в спину. Как сводка погоды, поэзия чуть-чуть изменяет ход жизни того, кто ее читает. Как сводка погоды, поэзия — не пророчество и тем более не самосбывающееся предсказание, а скорее — наблюдение, основанное на опыте. Местность же поэзии разделяема всеми читателями. Это словно бы сводка погоды всех городов, сложенная воедино. И — как сводка погоды, как разговор о ней — поэзия неизбежна и всезвуча, ни к чему не обязывает и дает неисчерпаемую тему для разговора.

Всякий читатель живет в своих пределах, так что и погода у него — своя. Кому-то ветер и холод несут облегчение, кому-то — боль в суставах. Небо неечно и переменчиво, и когда поэзия перестает обращаться за небеса, ее горизонт ограничивается тем слоем воздуха, в котором человек может дышать. Боги уходят, но разговор о погоде нескончаем. Кант, под конец жизни разучившийся, то его собственным словам, думать, приписывает свою «мозговую судорогу» смещением в магнитном поле Земли. А Рахель Варнхаген, страдавшая от кантианского принуждения жить под пустым небом и каждый день оставаться собой, во всяком письме непременно сообщает адресату о погоде за окном. Погода — нечто земное, неотменимое и общечеловеческое, погода совершается по сю сторону неба, и потому заговорить о погоде нетрудно с любым собеседником. Когда воздух густ от неловкости, такой разговор может разрядить атмосферу. И вообще, что, как не погода, способно связать воедино дни и состояния, когда жизнь приносит то обрывок воспоминания, то забвение, то потерю ориентации на новом, на старом месте? Среда поэтического слова

Драгомощенко А. Т.

Д90 На берегах исключенной реки / Аркадий Драгомощенко. — М.: ОГИ, 2005. — 80 с. — (Проект ОГИ).

ISBN 5-94282-337-5

© А. Т. Драгомощенко, 2005
© А. Глазова, предисловие, 2005
© Клуб «Проект ОГИ», серия, 2000
© ОГИ, 2005

и есть воздух, наделенный свойствами сетопышной погоды. Поэзия — разговор ни о чем, пустой разговор о погоде, но он, обрываемый, продолжается, пока есть воздух. Благодаря воздуху у поэзии есть звук, а благодаря погоде у нее есть ландшафт.

Поэзия Аркадия Драгомощенко живет на новом, на старом месте, в местности, открытой всем ветрам: на берегах исключенной реки. Где это? Нигде — и везде. Исключенная река — это река, которой нет, потому что не может быть. Не может быть либо потому, что в этом месте уже есть река, либо потому, что нет реки, а есть другая местность. В каждой точке на поверхности глобуса есть исключенная река. Исключенная — то есть полностью истекшая, сошедшаяся и переставшая быть, вернувшаяся назад в собственный ключ. Это та река, которая остается после того, как Истер, текущий встать у Тельдерлина, родник, журчащий обратно в крепь у Манделыштама, продельвает весь путь назад к собственному истоку. Здесь, на берегах исключенной реки, не пытаются начать заново и не сокрушаются о потерянном. Скорее, ставят нескончаемый опыт, мысленный эксперимент над тем, как искать собственное начало. Над тем, что произойдет, если предположить, что есть путь обратно, в плотинское единение.

Что, любylimствую я, им известно о Плотине?

И чуть дальше:

*Но что им известно о плотине, о которой однажды
говорил, о той, неизменно смешной, когда сгребли
подшивками талый снег и собрать его таким образом,
чтобы препятствовала течению воды, следующей
температуре окружающего воздуха.*

В истоке — истоке всего, не только языка — не отплывать Плотины от плотинны, они окажутся не разделены, так же однородны, как снег и вода. Оттого и смешна плотина: снегом можно остановить течение воды в реке, а ведь у снега и воды

одно начало, вся разница между ними — в погоде. Снег — это зимняя вода. Но по возвращении в исток не только снег и вода окажутся неразличимы.

*«Никогда нельзя представить отсутствие
пространства». Я могу. Но тогда исчезает смысл
«я» и «ты».*

В истоке «я» и «ты» различаются не больше, чем плотина и Плотин, даже менее. Все «ты», к которым обращается поэзия Аркадия Драгомощенко, — это лишь одно «ты», интимность прикосновения к которому превосходит эротикку: не потому, что эротике не придается смысла, а потому, что «ты» — изначально — содержит и «я». Ты и я дышим одним воздухом и различаем пространство. Но различие между «ты» и «я» стирается куда раньше, чем различие между пространством и его отсутствием, потому не так уж мы и далеки. Как бы велико ни было пространство, разделяющее нас, разница между «я» — или «ты» — и пространством несравненно больше, чем разница между «я» и «ты». Потому на пути обратно в исток «я» и «ты» встречаются раньше начала. На берегах реки, в которой сквозз зимний снег течет весенняя вода.

Отматывание мира явлений совершается не одним шагом, а в некоем обратном порядке. Совершенно не обязательно этот порядок должен соответствовать порядку, в котором мир создавался (да и известен ли порядок мира наверняка?). Это как считать с конца к началу, заодно разлагая саму систему отсчета: с какого-то момента уже не знаешь точно, какое число идет следующим. В какой-то момент этого обратного счета окажется, что разделение между «я» и «ты» вдруг исчезло. Когда пространство начинает разлагаться, теряется смысл разделения материй, предметов:

*Такая стеклянная поверхность, очень прочная,
очень стеклянная, как деревянная...*

Свойства стекла и дерева оказываются одинаковы, взаимозаменимы. Сквозь предметы просуптает тот самый принцип устройства мира, которого всеми силами пытаясь

АННА ГЛАЗОВА

избежать любой толкователь реальности: всё во всё. Если всё
во всё — то и объяснять ничего не остаётся, а значит, всякий
разговор теряет смысл. Эпространства и места, но ещё есть
погода. И у поэта, как издревле — снег во рту.

Анна Глазова

me duermo, mano a mano
con mi sombra

César Vallejo

* * *

Нищие знают, что, когда со ступней у них срезана кожа раковинной солнца, они не то камням ступают, скользят суфиями над кварцевыми осколками, плоским камнем над перламутровым слухом, жизнь красящими напоминаяем, что мы также стоим-де из воды, как река половинная, несущая паруса и олово.

Но, кропя тропу зерном раздробления, знаем также, что никогда не нужно звонить, если в миг до телефона не дотянуться, — фарфора страха, представляя тогда же смутно, что птица (тебе она что?), та, имени не узнать вовеки, состоит из материи расплавленного расцвета, падения в воск взгляда, пустог плаванья виска, фальшивой клавиши и свинца в дырах суждений, — иначе, того, что речью складывается в блаженную марлю дерна на веках, стлеченных в «нет» полдня, в рожь, во вращение флотера.

Ржавчина содержит ныне частицы. Разумеется, обширно знание, как глаз птенца. Каждому. Дано поровну. Но равно узко невероятно.

Об огне знаа, укропте, признаниях на рассвете, когда рот черств, как беспамятыства срезанная кора или ступни косые суфиев, — никто не скажет, что надо. Зачем убитьте: кто они, кто без одежд с нами, кожи, — одна сукровица и ничего больше. Словом, зачем буква в дупе магнита. Зачем другое следует? За предвещущим?

Мгновение сладостно, как вести линией
по срезу страницы. Ладонь стерта,
мельканье на излете спицы, где ветвятся боги.
Ничем склеены черепки лета, тесны улиткой, там
угол берства, детства иней, где одно сплюдою смеха
всплывает в другое.

Там — ничего. Ни одно обещание иным не станет, —
любовь расматривается, как шелушение, в котором,
словно в арктический спирт, окуная пальцы,
ты задыхнешься на пряном выдохе,
переходя в сознание мерз, прямо молва —
«пейзаж прекрасен».

Мне никто не должен. Я тоже. Остальное
останется ждать с необходимым изъясном.
Что будет буквально дописано в новом году.
Какую речь выберешь в нем?
Какие сны вышьешь?
Берлой иглой, заточенной в холст,
в цветные нити, и как расскажешь, что раньше время:
иным — бисерным; и было ли; — но продолжай,
ведь есть только несколько вех словесных.

И они рассыпаны галькой вдоль быстрого берега,
вдоль дюны и смеха в низине. Никому не нужно.
И тебе самому, поскольку странное мужество
возникает не за горами,
не в латунном ободке кашлы, не за требнем темени,
но идет в лоб ровно, под стать прямой речи или
улице утром, горлом во сне ночью, теснотою уиной,
которую никому не отдать. А никто и не примет.
Мне-то что... Кому в самом деле?

Если, конечно, меня не будет. А если есть,
то — реки в красное море, пряди соли и белые черви
в черные ночи смородины,
и моря постоянны, и мы утешны, как скудные вещи
над грядью имен в пасмурную погоду.

2

Никогда не знай. Откуда известно, что это весна,
а не известь?
Почему тебе нужна не победа,
а старый травматный билет?
Но там, где все было всегда, пролетают рельсы, бурьян,
Лосус разбитого в облако локтя. Там ни цвета и
ни того, что предполагает зарплатный «Кодак», —
сломанная подкова, стрекоза за веслом
флегматических влад, по срезу разошкшая книга.

Там в мочке уха пчела и смуглое очертание себя
отрывает серьгой каросты. Но поставь падец туда,
где разрыв книжной аорты. Сломи сустав.
В крапиву рукой, к улиткам, где прилив выхрялся, —
потеряешь разум, как карт желание.
Как карт мальчика. И кому надо: известно.
И куклуруза так же, как и петунии.

Да, эти, мол, вечера вина, безмолвия,
окончаний пальцев. Поэтому пишется после:
«победа и лебеда».
Остается лишь — место. У костра нищие боги.
Оставались. Выли. Ни с кем не делились местом.
Зависть их отпичала. Как пустые кувшины.

Но мы жили. Не зная, откуда известно то,
что изначально неведомо.

Повременим. Листва, сухость, отсутствие насекомых.

Это — Пергамский фриз изменений,

тени заменяют отсутствующие части глаза, —

фаянс историчнут.

Могущество их несомненно,

однако пыль пожирает героев, пыль пожирает себя

на свету во вращении, в солнце, в луче ночи —

Единственным, расщепляющем сердцевины ежечасной

буквы, бесплодной битвы... Дальше ступить.

Не двигаться. Здесь так положено. Так принять.

В чем не приходится сомневаться.

Рени Вавилона

At Grand Central Station I Sat Down and Wept.

Elizabeth Smart

Во всеоружии пространство явлено,

как будто можно тронуть его все пифагоровы жилы,

никогда прямые, словно тростник двояния,

как рта след на осенней слюде,

за которой гончарная поросль отступает

волна за волной в пределах эхо,

гаса сторожевые огни и в охры пену

погружая сонных, как эреба капли, птиц плетения.

Иногда легки они пальцам, как паутина над полем

порожним, отпрокинутым в ледяные трилистники

полудня, и потому в явленном не множатся тени.

Поэтому, к примеру, чайка — лишь влажная ссадина,

и мысль проста, как приветствие, — подгись под ним

блаженно стерта, под стать расстоянию, а само

увядает в воздухе, ничего не меняя в окрестностях.

Никто не произнес его. Никто даже мельком не видел

того, кто был рассеян кустом берекслета, россою, —

парение. Но даже если коснется дна зрение,

неиссякаемого пробела, луна, со светом совпавшая,

как вещь с доказательством ее права на место

и свершение речью, в угольном ободке останется рдеть

как прежде. Тускло, наподобие времени, сведенному

в точку еще не разбившей числа материи.

Если достоинием рек зрачки в чешуе слез и жадь,
 Сухому руслу — жало листа, несомого тысячелетием.
 И даже смерть здесь только слуха горсть,
 Вот почему — парение,
 Не блеск покуда, огнюдь не слепок,
 еще не пора горла.

 И этой обусловленности длинная тьжаба тьжести.

Политику

По просьбе Аркадия Блюмбаума: — а на следующий вечер с Зиной и Евгением Павловым при молдавском Sabernet Sauvignon; рассеянные разговоры о Новой Зеландии.

Когда ты, политик, сны разговариваешь по тегради, потому что стальное грифелем страшит ночью, синим, и крошки не пленяют, ни сброшенная одежда, ни двери, ни венны на икре, ни глаза,

ни стекло во льнах эрейских. — стимфалийские соловьи свищут тебе безвозмездно, и кто-то думает перед сном, что ты прежде играл в круглый футбол, бил колено вдребезги, был ливень на головы, но никто не был помазан, алмазный...

но сколько детского горя в глине было, которая повилкой нас обвивала, политик, сколько нежной боли было в сыпучем травии, хрусте; потом к ручью мчались через воскресный народ, и народ не ведал о том, что мы проитрали, но, может быть, мы тогда победили, — протоколы истлели

в цементных чертогах; не помню, зачем вечер над столом стался, когда ты стащила с себя джинсы и попросила за это книгу, название которой забыл... — а сосны ночью? Политик, не забывай, как тащил головоастиков

из дождевой бочки. Там водоросли — фригийской, пентагоновой мелочью, а ты себя видел и пытался яхту пустить в водоеме, глубина его превышала тебя (ты бы там захлебнулся), а ширина была так, по пояс, что корабль казался хлебным, а погом пустые годы, стройные, словно ступила пожара.

Не окончанье ли явное подвигло тебя углодить
не в малину, но в сухие листья,

по пересечу косяк под клевер. Плакал ли ты,
когда понимал, что голоса тех к тебе не доносятся.

То есть они доносились, звали на ужин, домой, но шли
как бы сквозоз, потому и решил, что воспрянешь
и все будет сделано, наденешь пиджак, прочтешь
историю о героях, но мата тебе говорила, что
много печали, никого нет, мать там, откуда малина,
сухие кусты, жуки златые зовут откуда,
но чему никто не откликнется,

потому что другие сезонь, а ты давно взрослый,
политик, ты — мыслишь законы, забываю,
что правил не понял простой математики;

так и в школе,
где впервые вдруг ощутил запах соседки по парте,
когда империи рушатся, словно мел на доске дочерней,
когда платье тебе не досталось,
а если осталось, то никому.

Где ты не то чтобы проиграл, просто здесь не устелъ,
устал, то есть, когда ты пришел, никого уже не было,
кроме куста бересклета, белой малины,
закрашенных окон.

Вот откуда, когда уходим, ты возникаешь,
недоуменья полон, будто мести, —
было бы просто говорить о футболе, продули сдуру.

Чрезмерно небо.
Денъги не поддаются герпению. Из нас кто-то
изводит — имя, склонение. Неким
доступно одно сновиденье, другим два:
различия никакого — одно им видится: чердак,
жара легя, медлительные руки,
снимающие паутину с ладони ветра.

* * *

Озерный надломленный лед.

Край сплнком прост, чтобы сказать: вот —
потускневших полей алфавита сколы.

Однообразны послания птиц,
но начинающий их разбиратъ
к концу забывает, о чем он читает.

Так и этой весной юг возвращает стаю за стаей,
так и в этот год они возвращаются югом,
как плата за песчаник под снегом,
нашаривающий шаг;
случайна где ягода:
радуги темнее в нижнем пределе,
идущих в руслах глаголов
волокистых времен,

Порезом неслышным осока вспыхивает
почередно.

В праздное ничто илгы
прикосновение сводит расстояние до облака, —
если шагнется к югу. Ночь подступает к корню,
поит притворенной сладостью.
Если, конечно, ветер вслепу
у горящих помойных баков.

* * *

Разные бывают landscapes, разные виды,
 Телефонные звонки, коса флюгера —
 Волос плетение, и всё сзади. Либо лезвие.
 А у тебя все вперед и между.
 Не давай мне денег, а если
 Любишь — принеси полотенце
 В пробитый душ, склянку не-яду,
 И не беспокойся, не тревожь понатрасну
 Ни меня, ни соседей —
 Не выдавать тебе следов пурпурных
 На санитарных откосах фаянса
 На сахарных склонах храма.
 А если бессмертен я,
 То и твое приближение меркнет
 На зеркале бритвы, возмущшей в тумане
 Дыхания. Не бритва вовсе,
 А просто вода подлыньи под ногами.

Все было видно как днем

Стрела, роняющая оперенье в заглазной впадине.
 В отсутствии прилагательных совпадение стеблей.
 Шаг оначает стремнину, предикат, головицу,
 Истории о дух берегах, меняющие родство.

Они проходили сквозь нас, в их зрачках думал закят,
 Под стать литере в области переменного выдоха.
 Предприняв простое усилие, в них

возможно было увидеть

По кровле бегущее дерево, стая, трепетавший на лезвии.

Детской септи золото, размотанный кокон Клее, —
 В ком облако ослепительно извещью.

То, что им предстояло, в недоумении терялось,

как поезда в расписании,

В бережных брызгах хрупкие меры не давая понять.

Тише ангела пыли, колес расклоения звучали их голоса,
 Излученьем незримым. Вдоль которых, как вдоль
 Расплетенной войны, стояли в стекло одетые птицы
 На перекрестке 4-й и Christopher. Где нас всех осенило,

Что их можно удачно раскрасить — кармином и охрой,
 И все же предложение было не принято, так как
 Гул покой бронзы, который они источали,
 Позволил все видеть, как днем. Коснись и услышишь

Терпение терпкого цвета на террасах заката.
 Непонятно другое, почему именно здесь?
 В дух порывах от ветра? Почему не вчера?
 Хотя до холодов еще далеко.

Причем не найдены вещи...

Для путешествия к ссадине, где подярная капля
Растит очертания, и черту очевидного тела
Рассекает воздушная нить,

чье имя мнимая ответственность.

Неизвестно, кто вслед им сказал, провожая глазами:
«Слова их зеркальны. Не только слова, но и жесты.

Потому не в состоянии мы сдвинуться с места.

Потому на губах остывает паутина атлантики,

А нам ее не смахнуть, поскольку мириады наречий

Текущих за пределы мгновения, уносят и нас,

Вместе с нами и с ними, не в след и не сразу

В топографическом тлении мест возвращения,

К первому слогу, к растушему шуму,

В чьей сердцевине смегая себя поочередно откруются:

Кровля, платан, за ними ребенок молочного облака,

Тень соседнего дома, раковина в патине ветра,

А после на выбор.

Из графы повторений изустной вполне».

* * *

tail-gating

Бог дает все — Им

даже терпенье даровано, как тень ветви;

Им, не отраженье кто и даже не дуновение,

Но поселившем за стену зрачков «благот».

Речь пред ним снег. Зола — рожденье.

Нам же участь: наваждение чисел

И во снах — зеркало, где не откликнется эхо.

Любовь

на гилс ноги Анатолия Барзаха

«Умираем». Значит ли, что цветы никнут, как. —
 Означает ли, что крошатся многословием тепла —
 а мы в других странах и нет паспорта,
 трансторга, какая-то Касабланка, станция.
 Тронь что-либо, а потом, — много спуста,
 после расслонится «тем временем».

Одно «лишь». Значит ли, что жест мерцает
 сквозняком в переходах, где точке
 не суждено преступить меру раби,
 когда ты равен сумме зрачка и влаги;
 закат в ней вогнут залогом. Воздух темен, —
 кто дышит им? Черств и сомкнут.
 Сух. Как пляж бесстечен. Ты вообще — ретейник,
 матрица уподобления в устье цвета,

налет зернистый на языке, кислотная забава
 послеполуденного расписания. Ключа латунного
 на восковом шнурке отпечаток в стекле.

Дед ли, таянье — и то и другое
 голубым привычно на амезистовых.
 Впрочем, слова беструдны. С нами: «склоны», «пятая»,
 «счисление» соочередностей тепивы. Также
 дурное пение. Да нет... вот и окно в полуметре,
 ручкой подать, — отромное,

как сухарь жевать деснами.
 К тому же давно открыто... Ни прорезей крови,
 бесмертие в ржавой извести. Ничто
 не омрачает руку, тем паце белое поле тушью.

* * *

Предвосхищая себя в деревьях или забвении
 Сквозь листву сквозную, летящую
 в темя воды обильное,
 Темнь зеркальная трижды себя отразившей мысли
 Распылится ожерельем, сорванным возгласом.
 Со ртутных капель, из дыр воска —
 антел интерполяции

хлынет безбедно.
 В сферах кроткого фосфора соберет призму жжения.

Скорлупа окрестностей, алгебры,
 скарб ржавый речения... Видишь? Ты не забыл,
 почему ходят вниз головою растения,
 почему ходят вниз голова не имеет,
 зачем солдат мерть, отчено как волосы прямы окислы
 в северном омуте, где даже луна вверх и вниз роится
 двоичным сажением языка. И почему женщина холод
 растит всего лишь прикосновением, —

К талыдам легки рта мышцы, число, отречение, —
 видишь все-таки? Почему жизни длим;
 в описании мерь, смеха, себя; кто сложно,
 кто доступно вполне, смерть используя вволю, как
 аргумент прозрачный вполне сюжетного построения.

Ослабление признана

Видеть этот камень, не испытывая нерешительности,
видеть эти камни и не отводить взгляда.

видеть эти камни и постигать каменность камня,
видеть все каменные камни на рассвете и на закате,

но не думать о стенах, равно как о пыли
или бессмертии,

видеть эти камни ночью и думать
о грезах осей в расстворах,

принимая как должное то, что при мысли о них камни
не добавляют своему существу ни тени, ни отсвета,

ни поражения.

Видеть эти же камни в прозу и видеть,

как видишь зрочки Тераклита, в которых

безразличие камня подробно, подобно щебню.

Рассматривать природу подобий,

не прибегая к симметрии. Отвернуться и видеть,

как камни парят и крылья им — ночь,

и потому они выше, чем серафимы,

лепящие камнем к земле, горящие в воздухе,

словно чрезмерно длинные волосы, —

к земле, которая в один прекрасный момент
лжжет последним камнем в основу

избыточного вещества, —

как долго еще означаемыи тлеть на меже утлём инеа?

Столько же, сколько камням, которые снятся падению.

Раньше к весне под стропилами

ос вскипали жаркие грозды.

Прежде весной просыпался песок,

по ветру стлался спиралью,

тысячеокий, как снег или наскальный бог, — иногда
ястреб воздушных набегов

в непрерывные страны алфавита об одной букве.

Лишь гримасой по краю, в растительных жилах,
слепую розой, встыжкой плененный кристалл,

будто морем присвоенный остров.

Может быть, позднейной травой над ручьиистой стопною,
но вступающий в обводы двоения,

в острую окись разрыва.

Что он? Как переводится?

Какова мера прошлого?

Откуда?

Повод? Да, не слышу: такова теглива маятника.

Глазного яблока дрожь.

Узкий парус пустыни.

Прогноз погоды

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

Со зрачка сегодняя райскую синеву снег
смыкает в нестойкое стечение линий.
Расстояние таит в оптике волоконных теней,
остов ветра стынет, словно воды расколотов гребень,
где до дна пролетает непроторенной артерией
ртуть, минуя ярусы слуха по капле.

Но где поверхность, там и глубины скудная стазма,
и сравнение безмолвной плазмой смыкает вещи, —
описания нищета, точно дождь в сумерки,
достигает на ощупь талыцев, — значенный различных оси
пусто светят на крошке льда, под стать зрению
атлантического непрекаемого побережья.

* * *

Совершенные в создании шпильей
находят возможность себя превзойти в деле
возведения колодцев.
Исследователи переводят понятия:
ладонь, мотылек полудня, трещина на губе,
любовная влада, ножа ничтожность, следы
соприкосновенья возлюбленных —

как нужное дополнение
к модальности отсутствующих языков,
но избрана ими снова насыщенность, словно луны пена
или головокругление под огнем, либо рождение
сквозняка поверх цветущих голов и у воды ирисов,
правильней так: императорского перстня отгиск
на крыльях смущенного риса. Большего не учесть.
И не вычесть.

НА БЕРЕГАХ ИСКЛЮЧЕННОЙ РЕКИ

* * *

Опустив руки на мокрые плечи шиповника: незачем крови танцевать под кожей. Время татуировок, календарей мстительных, средоточия туши, стробы полной, словно стрекоты пепла: путь к Иову — откуда-то. Любопытна движенья ноша, как гроота одолений, чрезвычайности или тяга к инверсии; обрывая (строке подобно) тварей дыхание во вратах осенних. Шум прохладен у вечерних порогов.

Белым затанут остов ветви. Дрожь всегда несносна двоением, «тогда» «дымом», праздною мыслью. Об эту пору, — оррекаясь изнуренья плодов (порой полногласия) (они изучают неуязвимых чисел передель царств), как если б в стволе отворился зародыш пусыни, — от буквы выискуют ясность листа, направления; те, кто вместе, где ни право, ни лево; те, кто ни суммой, а пара слогов открытых.

Тебя в любистке купали. Пар стовп над корягом и космы свисали, между их ног ужас и скука, но разве оттуда ветвишься лозою? Прекрасны они. Могушественны. «Лучше пойду я рыбу удить с другом». Но к кому? Но собери в горсть траву, попробуй на зуб, не забудь телефон. Пусть она снимет все, как и те, кто жаждет единственной капли. Каждый остров меркнет в печали обвода. Как обучада реснищу вести, опережающей гибель, — когда демоны, будто стеклянные банки,

раскалывались при переходе из вселенной в вселенную, храня сходство друг с другом, как влажную рану месту.

Окно и пейзаж. Разве не так друг от друга отводим руки? Потом, когда надо. Как детскую марлю от ссадин сухих и виденья валькирий на голое тело

в поликлинике за углом?

Вишня, осколок угля в зенице. Видишь: всё за окном. Бог либо песчаная лошадь в тетради? За Богом? — Разрушение зренья. И под стать акробату в зените, покрывалось истариной время, и сны стали чаще являться, знаменуя камни в летящем распадае. А жилы железа наливались радугой трупов... Так порою всем снится: плывешь в реке светоносной и, вливаясь в суженье зерна или в устье, или к виску твоих губ восходит затмение, — ну, скажи:

да, я это знаю, так было...

«Знание — это как Дети, которым мы удивляемся, зная, что Дети мертвы и не вода они, даже не грифель, и не любовь — в мокрых ветках шиповника,

кусты которого каждое утро на пути в торговые ряды, где найти множество удивительных, а в итоге одинаковых вещей. Ножи за 10 рублей. Ботинки непромокаемые за 90 рублей. Газеты (если постелить) разные, цена почти такая же. Шум электрички ничего не стоит. Книжки — любовь. Что-то еще, не помню».

* * *

Вдоль всех этих черных деревьев

влачится череда их имен — асень, ива, вяз,
 кора, терпкость, влата мозга, склеенные книги,
 конец зими. В порезе утреннем колеи скудно тлеет

стекло соли.

Иные, словно раздвинув полор, встыкивают тенью,
 чей спектр невесом вполне, — от желтого к иному, —
 в гочке слияния льва с золотом.

Отвесны сечи окраин.

Не описать меру усталости весенней земли,
 предчувствия запахов.

(пролет. ястреб. лестница. крыши).

Предощущения дыма, сташето на фаямском свету, —
 может быть, еще воздух... словно начало счисления.

Случайность к тебе снова нежна.

Утро какой пустоты нас оденет с тобою?

Куда как трава мертва и только с юга —
 архитектуралги слепящие облаков, небесные острова
 и ветер из области полуденного сечения.

* * *

Возможно, в этом году первый снег иной, нежели в
 прошлом; однако в состоянии ли быть другим то,
 что является лишь формами смутно ощущаемого
 превращения, обретающими, впрочем, со временем
 особую неприметность условия пейзажа.

Двоеньем оконным стекл

остановлен полуденный снег,

далее — тающая зрачка растра.

Пространства изъято из предстояния.

Под стать птице из собственного следа.

* * *

Не сон, а цветение невидимого остатка, —
что проще в краю, где в глубинах глазного яблока

восходит над озером озеро.
В причастных оборотах не истончаюсь — сумма форм,
вынесенных за пределы вещи,

как трещина за пределы пространства.
Погода — единственное, во что переходит время.

Паводок вечера. Пелли листья клейкой,
детские вскрики в дельте. История началась
безоговорочно, слухом, раковинной в пальцах.

Кровь, вкрапленная в камни,
загоченная в частицы кварца, —
вновь дарует длинную жадность корню
в этой холмистой местности: смотрим издали:
деревья те же. Отличаются начертаньем листа,

а также степенью смерти.
Имена приходят позднее, наподобие тетрадей,
лагул, лагит, мела. Много слуга в привычной речи
«сейчас» встречается со словом «сейчас».
Чему не сыскать ответа ни в едином молчаньи,
промедлении, ни в одном отголоске безоговорочной,
призрачной и все же — истории.

Время которой стало погодой, расширенным предметом.
Впрочем, пока еще не решили,
где лучше глазами с тобою встречаться. В зените?
Там зыбание вслеплет надежду, совершенно-слепяще.
Либо в низинах, где ты и туман не отличны ни в чем,
И потом, никогда столпу здесь не тронет пропта
бесшумного шедна.

* * *

Ветви грезят омертвевшими временами ясности
[оправленные нрзб.] обугленные системы того,
что видеть, когда спать расклеваны верхними [скорее
«голодными»; склоняюсь к последнему] ттицами.
Птицы, гвозди — в чем различье?

(«омертвевшие» — ужасно! никто бы так)
И потемневшие [есть «низкие», и я знаю почему]
ягоды [позвонил Павлов из Лондона]
присвоенны сумраком, как чуждая речь [наискось
справа «перекрущенная»] у основания утренних
[хотелось: «как лед», — оставим для бедных детей]
зубах, нет — утренняя речь, перекрущенная

у основания зубами прохожено. Да.
Согласен. Словно глазницы Эдита,
к грязи торжественно шестует свет.

Так в продолжительности (durée — прав ли в
написании? что с l'accent rotte sur?) расщипывается
рассушкой — скорость ладони, опускаемой к горячему
 («горючичному», сознаюсь, было... а потом не стало!
и не нужно) — лбу. Потом какое-то крыло,
превосходящее себя в легкости, — не совсем,
но зачем? В исправлении — «прочерчено крыло»,
находящее себя и т. д.

Длительность, возвращаемся.
Как опускается, когда, когда спать, когда видеть,
когда писать, когда рассыпается час перед поротом
года. Помнишь горох? Колени, соль, странницы?
Да, разумеется, нужно с другой стороны. Изнанка.
Трае сквозоз жирную пыль мерцают

золотые остовы вещей.
И о том, что не тронет их ни единое поминование: —
о чем позднее.

За шесть часов до пробуждения, если не спать

Уже не собрать всех пустых бутылок,

игл, наперстков, денег...

Не понять, где луч, а где стальная нить,
протянутая попереk дороги, опять-таки, непременно
у остановки наискось, где киоск прокишлый, как небо,
как — остальное то, что касается неба,

вознося в себе сложную и довольно складчатую

материю несуществования.

Кокош, тьма, а в замкании — молния и изгнание.

Не такова 39-я гексаграмма. Не собрать также,

если не ошибаюсь, ягод:

ни брошенных где попало галстукков.

Не написать оды на восхождение пыли.

Не рассказать на ухо «как бы хотелось». Однако

можно, — да, действительно —

остается еще вероятность идти,

не разбивая стекло лбом, не разрывая на части

цветную бумагу, билеты на край света,

либо пустую марлю, — треск ее сух, как утренние

циферблаты, пожирающие кузнечиков.

Как упования — тибетские мельницы.

Эти белые жернова ласковы, точнее сдержанны,

но обезвожены более чем чрезмерно.

И дунувшие ветра не приносит отрады.

Lyn Hejlian

Ни слова в ответ

А к утру он сквозь сон

торопливо стал бормотать перечень городов,

горючая россыпь, игла одинокая лагунного циркуля,

и, бесспорно, откосы, на которых мать-мачеха,

ржавые баки, ромашка,

и где ему — насколько я понял — доводилось бывать,

будто с изнанки. Он имел, вероятно, в виду — «города»

(так позднее сказал, но не сразу), что исходил

в чулунных сандалиях, и не голыш, — где и т. д.

И женщины. А они, как если б на месте стоять,

обтекали его в неуступчивом плаванье, —

именно так, надсадные хитином, кровью, книгами,

магнитком *slowness*, стицами окислов,

никотином и спиртом, — шли к нему в сон,

будто письма без ответного адреса. Его покрывала

истарина, хотя письма были, как ветер: но что

они двигали? Плаванники, климат, колеса любви?

Кого мог достигчь?

Из каких досок согнута эта ладья? А узор на ладони?

Помнил ли он: из каких? Кто мог бы забыть

о пустых в зной тупиках, белье на веревках, траве,

дремлющей черно, словно спинноза, на дне тротуаров,

но дни — это линзы... Много ли их?

Он говорил о каких-то тетрадах, когда кофе

хрустит под чьей-то стогой и фосфор

флегрийских болот принимается есть окончания

пальцев, — вот, эти тетради... Они меня бескокоят,

в них он, как понял, вносил различные записи.

Я стоял у окна. Он вздохнул несколько раз
и сказал, что ни о чем не жалеет. Потом лицо его
стало песчаным порплетом. По зернам.

Опоясанный динамитом и снегом,
Воск воды столь бессилен, — сон,

диск полусвета срезанной гитлицы.

Я смотрел, как лезвие утра

рассекает приоконную чайку. Хотел обернуться,
услышать. Однако осталось: «Кто я пред тем, как
проснуться, кто? — в кого превратиться?»

По многим причинам

«На 30-м году своей жизни...»
Из старого стихотворения

На 59-м году с сигаретой во рту,
еще боле плешивый вьюв оказался на пороге двери
лицом к заходящему февральскому солнцу,
за которым собака звезда на ветру нежно скреблась
в предчувствии ночи

и множество теснилось предметов,
и каждый был дольше, чем глазу ресница,
а также сыало

стесенье имен, в разлученье
которых взор проникнуть не в силах, —
да и не нужно, — вне очергаий магтник вещи,
перешивающий память.

Однако солнце слабело, и его умаление
раздвигало пределы прорех.

Желтые лампы тлели навьлет, и гтилицы с улыбками
падали в стекла. Но звук отставал,
а потом его было не слышно. Хлопок.
И дело даже не в этом, не в повторенье того,
что известно: возможно в короткой дотадке о том,
что пятьдесят девять лет уместилось
в несколько строк, на дне которых мерцает
протоочная пражка.

(Жижка прозрачности и прощения;
перечисления достигнешь конца, достигнешь бессмертия,
воск в верху глаза под веком, конъюнктивит,
гитарисы, даты прощания), —

Приумножение строк — сколько теперь? —

не прибавят ни слова

даже к первому слогу, не упоминая о выдохе.

Иней ярче на ощупь. Терять нечего —

разве что снег во рту, — поэтому не о чем говорить.

А потому все как надо. О дальнейшем нет смысла.

По многим причинам. И не страшивай, пожалуйста,

куда переехал, что взял с собой,

кому пишу письма, каким улочкам отдаю предпочтение...

мир настолько просторно сквозит,

что в нем нет ни места, ни смерти.

Счет

Я считал богов, как месяцы, по косточкам рук,

жилам лун, тыльными суставам, я считал камни ногами,

ощущая их под подошвами, также и урлём ступней.

Возникает странная задача

просчитать твоё присутствие пальцами,

Когда ты в одежде или без нее

или же когда что-то уходит из-под рук,

как облако, которое убивают в прищуре,

когда ничего не приходит взамен. Что остается?

Разъеденная присутствием фотография, ветер стрижей,

сор в глазах? Лишь только счет мелких богов,

семенами павших к разрозненным пальцам.

Вечер

Приходят мертвые и говорят: «Ты — живой». Действительно, это не просто так, не показалось с первого взгляда. Тогда, — говорят мертвые, — садись напротив. У мертвых всего много: и бутылочек мертвого пива также. У мертвых много мудрости. Это я тоже знаю. Они имут по именам тех, кто включает свет

и во многом толк также. У меня — ничего. Я читаю книгу. Про что?

Зачем ты читаешь книгу? Почему прешь вино

и не думаешь, как нам, мертвым, жить? Почему ты жнешь колосья и пожиралешь хлеб,

когда мы едим один мак. Потому что я читаю книгу, когда в книге сумрак

и мрак становятся единственными светом, в котором память рушится, словно строгила,

если к ним на долгий срок поднести свечу, потому что прогигивительный союз обладает покуда

силой, а мата наутро в поту и лед гает в руке.

И ты еще знаешь, как трудно. Не сказать, но сказать, не себе, а дальше.

Это не по зубам мертвым.

* * *

Роняем монеты, когда тащим деньги из кармана, который находится всюду, в котором птицы если поют, то мы их за это не любим.

Но ты разламываешь один на два.

Но слышишь голос на три молчания, на три месяца.

Но сигарету тащим, кофе берем той рукой,

которой он стынет, и никогда никому не звонить той

же ладонью. Но день — пасмурный. Облака.

Но солнца мало, как зерен. Но оправданий больше,

чем мелочи, которой устлали путь отступления

на мели гнезд. Но много меньше голосов птиц на

плечах рассохшихся, — как если б сосна

больше не знала дождей, карт, топора

(кожа — архитеплата капель), — а меня подавно.

P. S.

Ты стала тенью дерева

до того, как оно стало.

Анне Глазовой

* * *

Согласен, даже не ярость, — это так же смешно, как моросит с утра, как неполученное письмо, или в расплывах черники стук после тебя двери. Хотя оконные рамы в сохранности, поскольку туман не здесь. И ничего не пропало. Жемчуга и заплата, как острие, ясны, т. е. как хранится в каком-то отделе мозга «любовь», рядом с другим, возле стекла, но другому ни имени, а есть состояние, а к нему ни тубой, ни глазом, остальное — пространство, как траве оса. И вдобавок мокрые на полу свитера: развей их, как из кративы вили сорочки, но только наоборот, словно из моря раковины. Чтобы рот не раскрывался больше ни в слове, смехе, извести, а я не скажу — «хвой, обруч, вино, сосна». Тогда снова к тебе, не написать — тебе в воздухе: дым, тебе легче письму, и зеленый, как шавель, выдохнуть, — весны чернь, когда задыхаешься и вино катится из руки и перекусываешь воду, где закидывается голова...

* * *

Цвет твоих волос
 Не совпадает с глазами,
 Глаза не совпадают с приметами,
 Ничто не совпадает, — ни дождь,
 Ни стекло с дождем, — следует ли
 отвернуться?
 чтобы увидеть, как совпадение совпадает
 с прикосновеньем иглы. И точность
 непотопад обрушивает песок и влагу
 в легкую накипь исчисления линз,
 что числа не имеет, подобно навьюку,
 научно трудно разведения в стороны
 концов с концами, литеры с литерой,
 восклицания на привязи у признания.
 Уверен, никто не произнес слова «вниз».

* * *

Я расскажу все. Только не страшивай, про что начну, где живу. Когда начал пить, на какой крыше понял, что женщины — не только то, что ходит по улицам; и я ничего не скажу. Поскольку всегда свет в глаза. И как начать? Как писать тогда, если всегда в глаза свет? И ни единой буквы не увидеть, если не стать на свету тьмы.

* * *

Такая стеклянная поверхность, очень прочная, очень стеклянная, как деревянная, и еще несколько правил, чтобы гнать, держать и отпустить, наверно. Но за стекляннoй поверхностью — ни сосен, ни помойного ручья. Одно увидеть: как неизвестный усердный монах спонит палел, затем карандаш и выводит — «вот идет пятнадцатое облако», но он не думает, почему нечетное переходит с такой легкостью в четное. Он не думает, как не думаю я, когда мои губы переходят от твоего уха к твоей шее, а потом ты не знаешь, как поправить волосы, или когда, медленно набирая скорость, воздушные инструменты убийства огнибают все пригорки без исключения, и даже стоящих на косом погосте. «Ненавижу футбол. Россию». Намерен надорвать пейзаж. И делаю. Легко. Как странствие скарабен
через пески в корнях ветра.

* * *

А мне не убежать нигуда. Во-первых,
 рассматриваю страничку, на которой это написано.
 Во-вторых, разные фотокамеры, серебряные ложки, тени.
 Буквы, которые расклеваны между теней, разные...
 даже и отражение на всякий случай. Я вижу еще —
 окно. И у меня болит голова. И она болит сильнее.
 «Не убежать нигуда» становится
 неким оперным пением. А мне и не нужно
 нигуда убежать. Лучше — чтобы голова «пополам».
 И петь, а лучше никого не видеть, гита «прощай»
 тогда, — быстрее и легче. А иногда вина
 и зеленый лист. Поддержать в руках,
 а потом зажечь сигарету.

* * *

Как ресница в реснице рябит небо
 в своей же утвари за холмом и дале,
 когда дыхание преврано одним гольфо —
 утратой в губах другого, а произнести «как» —
 немыслимо, потому как время иного,
 словно лучи расстения; расходитя по краям соли,
 и слета нефть к пальцам, и не остается иного,
 кроме фактской нити в падении; она заглазното,
 в котором ресница скола расстит кристалл совпадения,
 когда слово грифельного остатка
 лишается в отслоении отточенной патины.
 Приемлемей отрицание.
 Невесомей проточного ветра в зрачке,
 хвойной подковы на ощупь, — на одно из ребер
 можно ставить монету и, ось изъязв рьяно, мыслить
 некое равновесие, где никто не виновен,
 просты колеса. Точно мечта о детстве.
 Но я лицом лату в твое солнечное сплетение,
 и пусть песок просыплется по путям глазниц
 как именно то крупно-зернистое время, которое
 в пальцах золотится терциями, которое не «как»,
 не «словно», — плоско которое
 и летит безусловно, будто страница,
 среза путь от стены до пола.

* * *

Мы забыли про белые крылья конвертов,
 рисовые ступени за спиной,
 расprostертое на языке лезвие, когда вниз
 и когда дерево сносит голову. Я не помню, что.
 Я тебя не помню. Я помню, что был, а потом пропал.
 Мне кажется, надо дальше высовываться
 в открытое окно, пристальной всматриваться
 в муравья и никому ни слова, включая,
 что любишь утренние камни и на рассвете и
 холодные кночи в горсти. Мне сказали, что ты
 смотришь слева и потом.
 Можно не говорить о другом. След — вначале.
 О стекле, кольце нибелунгов... Если честно, то — да.
 И о картинках, и о том, что книга.
 Затем сказали, что ты все с себя сбрасываешь,
 когда даже не знаешь, как кто-то знает, что
 исключена голубиная жадность конвертов. Писем.
 Пейзажа на кафеле, ногтя и шелка. Мне — вино,
 вполне доступное по цене. Ты ходишь в кино.
 Остальное — дело историков.

* * *

Отходишь от прибора, получаешь —
 время получаешь, вещь получаешь, гарантии
 на жизнь, платье вверх, темную наледь, а кому,
 если не так и не от того получается?
 Что получается. Посчитай бесполезность
 того, что сказано. Умножь на серное небо.
 Раздели на вино, крапиву, признание, а дальше говори
 на пальцах горячих камней. Их мало.
 Ни звука, ни слуха, ни денег, ни остального.
 А ты где? Тогда — это называется. Как тогда
 называется то, что говорится в ирисный полдень,
 родители стят, машины умирают, и
 перескаешь дорогу, тьну к тебе руки, когда снимают
 кино про это самое, снимают,
 но когда ты позвонишь, не знаю. Знак вопроса.
 И прибором заметно шумен. Ненужно промок.
 Звонить не надо, я ничего не знаю в уллицах вниз или
 против. Сверху — да. И когда уюль становится
 последним зеркалом, если не улупить из рук,
 и укроп разворачивает сухие простыни, словно никто
 никогда не играет в мяч, будто никто не убегал
 с уроков, чтобы поймать, что нужно
 в том возрасте, — я начинаю с прибора, г. е. о том, что
 не отходишь, потому что потом прилив
 и свист. И по шиколотку в песке,
 и не высаживай мак, и не говори, что любишь.

* * *

Слепигелен обод снега в обиходе вдоха,
листья, корней, коринандра. Колесницы вспять
неслышного уничтожения раскрывают тление
камеди. Сильнее склоны холма
гончарной травю. Ключом окопцована ночь,
углеродным стеклом орешника —

у куклурузных костров сушат птиц из досок,
листают книгу, опускают руки в то, что рукам
не год силу. Каждая тень измерена.

Сны пеной взвешены на пелене багряного гравия.
Рассветов много. Пересытая из припорошши
в песок, и другое: из песка исключая
побережье пернатой глины.

Зине

Умирать в ветреный вечер

Согласен. Я умираю. Места меньше.
Медленно, как осока по ветру,
она разрезает вечер, як лезо, но время — мимо,
то есть по обе стороны. Озера, песка. Берега. Сна, —
а он обычно воздаяние и немного воды.

А дышать, как дышать,
когда ты стекленеешь холстом. Чего взять?
На всякий случай меда для тяжести желтого рая.
Но берет не покрывалом выгукных, хотя до криптов
крови не дотянуться, и в горле сухость,
как в борозде кремния, потому, вероятно,
приятель хмур, я, признаться, тоже роняю спички,
и себе на уме, поскольку не избежать любви, войны,
младенца, новостей о том, что все хорошо, что все в
порядке, что к лучшему, когда умираешь по стенам.
Когда, когда-нибудь, научиться не видеть,
вытирая до дна глаз тальцем, чтобы отпечаток рисом.
Кто просеет воском? Собственно, какая разница.
День до дна листа доносит изморось,
блеск черного камня.

* * *

С вина снимаешь кору из стекла,
надрез. Неосвязаемый подорожник.

Столпом выпрямляется в пустынных столах,
подоконника, ночи, в пустошах птвичьих,
но и в тканом окне, где, словно при стрижке
во сне сползают влажные пряди —

милует голову холод.

Звездная борозда рассыпается углем,
проникая безбольно север.

Так минует зрачок радужная игла
и то, что в бегущих строках распри.

Если пишем, конечно, если кора и холод.
И безмятежно проходим

в чередѣ поименной Деревьев.

О. Г.

Буквы

Допустим, все же лагуна, окись, осень,
но, бесспорно, взгляд сам кажется сном.
Напыленный соответствующим образом

в область завораживающего сходства —
Но и во сне возможно ослепление различного рода
(казалось бы, невнятные...)

смещениями, безо всякой причины представляющими
(здесь сравнение исключено)
шепоту. Не помню, когда в первый раз,
то есть в последний, видел лишайник
или шавель, оставь меня, не переходи улицу,
не черги на стене линий мелом, все равно не видно.
Это относится также к птицам,

и не забудьмай перечить, мол, все это потому,
что я напомнимано кого-то, а тот кого-то еще.
Боги знают, как падают капли
и разбиваются огромные стекла ливней.
Они также знают, где тьма расходится с кругом.
Но что-то в моей голове не мирится ни с богами,
ни с птицами — странным образом они гаснут
на слепящей чешуе зрения.

Таков миг прикосновения к отсутствию.
Хоть уголь ешь, или пой под забором,
или же гимны возноси холмам, где кукрузы
стволы дымны от сырости на закате.
Остального не разобирать в тетради.
Если покидать, то всё. Не снизывая,
словно бирюзу с паутины,
но срезая как прутьчатую нить воды.

7 сентября

День ветрен и зернист в извилистом стекле,
Где лист, развзятый севером и тенью,
теряет осозанность предела
во множестве чрезмерном и простом, —
сливающим предчувствие со зреньем.

Здесь угол кухни, угтенie вина,
как пальцев утренних — губами,
на кровлю воздух бережно слетает
песчаньими, сухими голосами.
Как будто дно устлало небеса
слоистой известью мерцанья...

Возможны птицы. Вероятно время.
И речь чуть сонная; ключицы,
прикосновенье рук. И долгий миг дыханья,
где нет ни «вспять», ни «вновь»,
но только этот день.

Пред-элегия

Распределяя воздух в воздухе, воду в воде, — нет
проще науки, — чечевичу укрупнения
в каждом порезе где бы то ни было,
пусть черешни черный плавник сверкнет в медной
эмали кокона, когда на стволе,
а сосед скажет, шествуя под зонтом,
и плащ по обе стороны, и ни звонка.
Тих разрез, как дуновение, краб, а остальное
нисхождение или же приближение к местам
отсутствия не одних только знаков препинания,
известковой камеди раковин.

Но и бесед об отраде лиц (отраженьями в линзах),
какое еще безумие, какая *argosodia* создаст точное
расстояние между большим пальцем
и большим тем же пальцем,
если по очереди прикрывать глаз за глазом,
какой артерии стать стеблем подсолнуха,
откуда встать мотылек бессилия?
какой прозе мелькнуть пшеничной лозой алкоголя?

Мне не осталось сокровищ.
Ангелы — они, оказалось, текучи, словно чтение
Иммануила Канта при переходе с 3-го этажа
на 5-й с велосипедом KHS Krest на плече
при полном наблюдении правил градации серого.
Торения. Я не узнаю многих. Лица прекрасны.
О чем говорит все это мне? Об океане.
Не я ли их видел повсюду, а теперь —
только при переходе на светлую сторону улицы.

Я не узнаю лестниц. Длинных, извилистых,

будто Нарцисса замысел,

по которым ранее сходили к илистым низинам богов,
тех, кто знал, что они мертвы в призмах,

отраженьях, ресницах, на которых соль, словно весть,
незрима, и что они, —

словно речные крылья между страниц твоих же
писем, — бескровны. Но мальчику тысяча лет травой
в изголовье, — кто сказал, что терн только трава или
же «завтра», а мать-мачеха не имеет родства
ни со стрекозами, ртутью, — параллельна тень.

Прозрачно все, но тяжесть лишь зреет.

Ступень за ступенью, и никаких ошибок.

Нет устной сдачи.

Не пропускать же воздух сквозь зубы, — легко.

Не просить на десне ожить татуировку карты крови;

там падаем, там голые, там простыне, как ледяной ветер

пред пурпуроносной, — не спрячет в складаках,

как не спрячем, что спрятано в нас невольной — но

что? номера? числа? выскazyвания?

вообще о любви? что значит: «невольно?»

или же о том, что нет сил по прошествии времени

даже думать о знаках вопроса. Но тогда

почему не дерево? почему не голод, почему тогда,

как всегда, не — «каждый ангел ужасен»?

И где ни глянешь, под ногами лист бумаги

с листом древесным говорит на наречье, чья

теснота избыгает любое направление света.

Дно из объяснений

Прозрачные стечения птиц на темном свету;

отдаленное распределение роц в изгибе зренья,

Миг слюды на разломе ресниц.

Что прояснит тяжесть снега со временем?

Что означает: «ты есть» или же «тебя не будет»?

Сверкающее вращение стипц — либо какие значения

таются в разъединении союза?

Отмель тростниковая сушь, устье взрезающая

проточным гулом.

Так же, как и пробуждение, безвидны

(в котором ни тени, ни отражения), слова —

смыкаясь с вещами, — раздором немлым парят

между дном и поверхностью.

Бесхитростна снасть, улова прощю, но скоротечный

«мир» (тог же) тпится начало терпенья вымолвить,

настигая в выдохе целое.

Ствол сосны прям, как смерть облака в призме

движенья воды двоичной.

Обратной, склоненной к себе же самой

вне чуждого образа: словно тгичьи объятия,

заклочившие солнце в пристальность меры;

и что не существовнно,

поскольку в кротком дробленье зрачку, будто пряди

тесной изнанки, межк тончайшие тлеют пелги.

А расширение воздуха

идет за счет замедления крови.

Вот тогда залив шлет нам ветер,

разрывающий в кронах низкое сиянье осени, влаги.

И мысль обращается к возрастанью вещей,

к тому, как соломой кружащее имя к умалению льнет,

в исчезновении предощущая разрыва благо.

* * *

Теперь ясно; облаком перечное немеет дерево,
смотреть вдоль среза, соединяя прямые
(кленовой листвы россыпь на кошенильных почвах),
протекающие наперекор дуге ламп во рту,
когда поцелуй превосходит ночь, как сухость гласные,
если лишить расстояния, когда пустоты речи
заливает минимая влага,

вращаясь вокруг бесстенной оси,
которой слюна не отдает ни проблеска
в мгновение ока, потому что губы темны, речь суха
и наклонно падает яблоко, так же как солнцем
падает рот, а луна надломленная
срезает в отблеске путь «смотреть и видеть».

Ракушечник.

Остальные формы — поодаль. Поры ветра.
Будь и ты всегда, где там, где слюна проторяет путь
черепичной осени, как все, как черепаховый гребень
волну у берега: милосердной также, поскольку «они»,
«в них», «мы» повсюду бесечно развечены нами,
словно черенками листьев, внутри оточенных,
раскрыта до полудня пенная вода холода.

* * *

Теперь очевидно: великолетные птицы океана,
на голубоватых веках вылепленного вина,
когда залетает в коврах снов, расшитых содиш
fragile, подказывая терракоговые очертания извести
.....

Такие, как если думая о тебе или же когда письмо,
загмевая себя, обнаруживает число (не дату)
вне признания, без единой буквы,

однако и подгнись прогорает бесечно
в сумерках радужной оболочки.

Тогда глаза обращены к дорогам, ведашим
в глубины пыли, растворенье различия.

В створы палыцев, где брезжит начало вещи на ощупь,
Огнюдь не рот о ней после, знающий,
сколь плотен вечер, вскипая напрасной трапой

по ступеням озер, но что же лучше?

Впрочем, так и не удалась пересечь океан,
воспелый Лопреаноном как то, что дано сверх меры, —
словно оставить на завтра... Неужели

это как обернуться, чтобы индиги и йод
неудержимо хлынули, сведя голос в горло побега?

Мгновенный, тысячекрат повторенный в себе,
а потому незримо цветущий стебель арктической служки,
рассекающий время на светлую сторону дома,
обоючну, тополь и ржавчину, но и случайную ветвь,
осенившую падала за поворотом.

И никакого сходства ни с чем.
Отпусти песок из руки, будто птицу,

пересохшую в описании.

Бесположно выказывать сожаление, но разве милосердие не сокрушает? До рези в глазах.

Чтобы воскликнуть: «*также нашло свое отражение*».

Какая ргуть подоплекой? Какая река живых протекает

в молекулах зеркала? Никакой.

Теперь очевидно. Но сезоны дождей, холода, тьмы

полнят днями себя же в неуклонном «*теперь*

становится ясно, что длительность

не возвращается ничего», и —

«*какое мне дело до скорости света*», и —

смерть приходит как к «криглянам джепам»,

так и к тем, кто знает, что «все становится ясно»...

и будто к безвестности уносит воздушный поток.

Рамы пусты, словно воздушные змеи, стаявшие дни.

Незрачен и прост звук. Между буквами на листе

воображение стремится к себе, затмевая себя же,

сквозь сквозь речную тяжесть молвы, в которой

проточные вещи пусты, словно сети

тщательного пробуждения. И такими будут.

когда «истают земные связи».

* * *

*Akseli Kajanto **

Не следует особенно доверять поэтам в том, что, в отличие от людей, птицы бессмертны.

Что, дескать, мы почти не находим их тел

после того, как из воздуха они переходят

в тусклые листья и ниже,

к зернистым мгновениям

нефти, слюде, где, отражаясь

стократно в ступенях огня,

плазмой стекают в разрывы зеркал,

хотя тут-то и западня для ума... их вроде нет вовсе;

поскольку — откуда лучится это отсутствие? Оно

как излучение пылающих ангелов в слепоте.

Как горошина над расщепленным на три стеблем, —

но где они были? Три? Почему они

где-то витают там, где им ставят вино, хлеб, мясо,

успешные книги, — почему их не было «там»?

Я не знаю... ангелов, что это... которые не... которое

превращается в ночь, словно время назад, когда

попадает в зрачок, и ты находишь, что найден ты

мертвым в Москве, один, никого, сякоть в то время,

ни записной книжки, ни телефона; кто звонил тебе и

ты не слышал? там, где мы говорили, но ни единой

нити к черешне... Это о птицах.

Которые, если верить поэтам — бессмертны.

Чему никто не поверит.

* Akseli Kajanto — финский поэт, переводчик, был убит в Москве на улице в начале декабря 2004 года.

* * *

Веществом близким сумма небес округла,
по нити спиртом споряют волокна влаги.
Звезда недвижна. Прекрасно прямое действие, —
как искривленная формула времени,
где в скажинах между пределами искрится
отсутствие имени, словно вдох, суженный до
безвидного пресечения. Так увидеть, как грязь
и немой марокканец, как твои глаза видят зрение,
а ему — каждый из нас напылением амальгамы
(смещение в область вестги, серебра, польши, ртути):
на легу истараясь в побеге зеркала —
телефонная раба и снег, теплоту виска ночная,
а у дна прозрачные травы. Цвет
будет им найден по каталогу, так же
как отрицанье губами в прикосновении ко всем
словам сразу. Одновременность... Что еще?
Да, — что тогда пронцаемость? Разведа ветви
в стороны, стороны в страны, птиц в отсутствие.
Мало ли что... Описать к тому же,
сколько главно движение центра в круге?
Но если «сейчас» лишь окружность, то где мы будем,
когда туман слепящий наступит к полдню?
И нас укроет неравномерность. Что откроется
за его пределом? Изгиб реки за последним окном?
Каковы величины точки,
скользящей в пересеченных зрениа и голосов
в грамматических категориях времени?
Среди которых пятая форма будущего «никогда»,
подобно капле в ожерелье Индры,
открывает вращению неизъяснимое настоящее.

На юг

Даже на побережье,
медля влед уходящей, свитгой воде, склоняясь
к жерновам зеркальным — в гроздьях крабов,
траве тридонной, сможешь ли замедлить
иное движение? Другое, конечно, нежели думал,
но кому нужно, о чем, — и поэтому,
как остановишь вседенных колеса?
Которым в детстве, казалась, рукой дотянуться
и рассеяться винным инеем, словно тепел цветущий
поверх пыльца сентябрьских ирисов, слоюм
нового года, сладостно нищего в облачении
мест наизусть, еще не возшедших к луннам историй,
о жестяные края только пальцы изрезать,
словно о листья осоки. Все — недоступно.
Пустое. Было бы бело. Однако же грязно.
Даже смешно. Поскольку срывается слово
и снова взираешь, как скользит предложение.
Даже там бумажный кораблик соломинкой мнится,
какой чиста заказаны в темени, но ты ведь хотел,
чтобы воздушные змеи нить поднимали,
какой введомы? Чтобы те, кто уже не живет,
были ко всему равнодушны, а так не бывает.
Карты листаем...
но даже архипелаги цветные — и те очергаными схожи
с местностью пыли, любви, как половина листа
на прозрачном исходе с огнем, его постигающим.

Но как их сейчас описать, когда вода уходящей воде, к скалам зеркальным? Разве что в отражении увидишь, как они переходят от дерева к облеску, от отголоска к вторжению, и не вспомнить их движения,

как на шее артерии.

Так как, словно вода, они отходят от берега, обнажая повечерье луны, известняк и базальт, которыми откликается небо, обрыв, часть дороги у поворота и время, если ты еще не забыл, как оно возникает в раскаленных колесах вселенных, когда лишь только два тела, в которых плаза открываются, словно впервые, а в них дым и расцвет, когда, если, конечно, курить, футбол за стеною, стеклом передвижные картинки, но есть то, к чему в детстве было почти что рукою, а кто придалвал такое значение тому, к чему срывается слово, разрезая вселенные, туфы, мусорных птиц на длинные строки, словно ветер радиоволны?

И потому — распрямляясь, мы также уходим, воде под стать, которой приутовлена зоркость (впрочем, сомнительно), потому что становится дольше, длиннее, умнее, все-таки это — вода. Мы же не приближаемся, но превращаемся в «тише», кофе утром в окне ледяном наутал, пара привычных страниц, сигарета, гаражи из железа, где ни о ком, лишь всечасно о том, что даже на побережье Атлантики, тень воздушного змея, тень колеса... но отыщем другую возможность найти пути отступления к началу, к итогу. И югу.

* * *

Как ты думаешь, — говорит, — разобью локтем окно, станет теплее?
Пусть так, — говорит, — скажу, что все забыл. Там, где народа много. Вамен? Скрежет мотылька
парчовый?
Плавание мела в кембрийской гяле?

Если каждое действие бездонно вполне, почему же столь ясен песок в геченье и также отчужливо над линией крыш изменение небосвода? Изводя из предутреннего бормотания призрак совершенного алфавита (когда в стремлении найти, — возможно, — другую мысль о земле, стебле), Джехутти — обюдоострым маятником между двумя гемисферами, как размышление о том, чему не найти направления. Но он сам и есть

одно направление, как на холстах Арокавы, в дожде перистом стрел. Как если бы говорили о борозде, лакане, гвоздях, внутренностях, etc. Кто их считал? Но сколько бы тгичьих ни отсутств в проточное пламя, ничто не отразится в слове «слово», ничто не всплывет в исключенной стремнине. А что должно, собственно? И что нужно, чтобы back into the desert? В девятую местность... А истина? В каких картинках?

Где больше народа.
Шелк пропуская сквозь горло преаторий и перекусывая, когда надо, а не где хочется. Не отвечай. Поздно. Уже.

Поскольку внести безвидную точку желая
в сходство делей — ты уже вписан заново
в ряд вопросов любви мало-мальски
аргументированным подозрением.

01.01.2005 0:50:12

На берегах исключенной реки

Текст говорит вполне определенно:
смерть как таковая ничуть не нужна
в деле спасения.

Ален Бабью

Предпочитаю далекие грамвайные остановки, субботние вечера на отшибе, деление молекул в размеренном сечении стружей. Трудности воздуха обращают к гениям растений, затем растянутое солнце навьлет. Когда над заливом. В линзе клепачного отражения.

Существует несколько возможностей. Висок. Одна из них — обратиться к словам о том, что «не существует ни источника, ни основы, из которых что-либо могло бы попасть в это постоянное настоящее». Особа и пересчитанные воздушные порезы. История с непопранной водной гладью и возвращенным взглядом находит свое подтверждение во сне, где зрение теряет свое оперение, под стать стреле, вяло выпадающей из русла предназначенной ей траектории и попирающей законы движения, инерции, масс и какой-то цифры, живущей ноябрем побоку. Действительно, случаются дни, особая резкость, когда осознаешь, что длительность ничего не возвращает. Пешеходы немноточисленны. Линия отчетливой шва на амальгаме. Тогда как глеть Гаутамы за утлом носит ныне подробности в пейзаж. Холмистая местность, желтый ракушечник. Белая пыль. И столь светозарное свечение полудней, что тень и свет одновременно теряют смысл. Вначале был сон, очень давний, потом сон утра-тил вообще какое бы то ни было значение. Потом возникла ты. И вернула сон о закате, заброшенной спортивной школьной площадке, с морем за «тде-то», и как руками закатывали книгу. Почвы были белы, сухи и легки, как поджарья жуков.

Мне всегда казалось, что полдень — это божественное рассеяние материи, в котором мгновение еще не имеет никакой возможности раскрыться в «нашем» представлении времени. Иногда я позволяю неряшливое стужение, именно — с ночными одинокими пожарами, случавшимися за черными яблонями и орехами. Там надо быть бесшумным. Как черепки до сцепления клея.

Когда их ответы говорили об океане, которого, разумеется, я тогда не видел. Но читал. О чем? Крабах? Разбитых на ногах пальцах?

Однако свидетели молчат, поскольку город сожжен до фонетического основания. Подобно финикии. И никто не осмеливается начать вновь о жертвоприношении «ваш» жертвующим. Очевидные вещи околдованы перспективной внезапной подозрительности — то есть когда все, что мнилось притягательным, принимается напоминать о полной несостоятельности «притягательности», а несурзанность заполняет поры зрения, сквозя мимо конечных отношений и последних элементов. Как долго может находиться вещь в состоянии «приобретения»?

Отдалиться от дождя не представляется возможным. Поговорить о братстве по меньшей мере смешно. Хотя, должен сознаться, тут допущена явная неточность.

По одной понятной и, разумеется, одной, не более, причине — я лгу (неискоренимая привычка, возведенная в правило). Пожиратели леденцов переходят к следующей фразе: «Но шлейф, не видимый никому, влечется наподобие рождественских огней в американском кино». И впрямь, почему бы не отправиться в Нью-Йорк на канникулз? Что взять с собой? Что, любопытствую я, им известно о Плотине? Или о ночных странствиях по Strand или же соловьях из мокрого риса?

Горящий тростник доставляет истинное наслаждение глазам и прибрежной, но земной траве. Длина волны синего разрешает узнавать его первым на расвете. Позволительно было бы продолжить о жилах притяжения, прорастающих сквозь мельчайшие вещи (такими, к примеру, являются почти незримые зодолитские мухи, проедающие дыни в тени, расцветная моль соннца), а также о валентностях, гравитационных полях приприминаний, о спиральных взаимодействиях между ними, — но в миражах далеких травмавных останков, сухого релеевика, кипрея, предвечерне вспыхивающих тлци подобные связи утрачивают насущность и окружающее предстает наподобие неоправимого компендиума речевых погрешностей. Где я буду, когда умру? Никогда, сука, не звони, когда тебя не просят об этом. Какого рода? Направо — лес. Налево — страна. Назад не оборачивайся.

Оговорки, смещения мерцают на дне каждой очевидности, разрастаются друзами утрений, повторяющих себя в головокружении, порождаяшем истинно двусмысленное беспокоейство. Однако наслаждение двоением, расщеплением, следованьем некой тропе перехода неизъяснимо. Когда-то, бредущий в напотолам сломанных сандалиях от университета до «Площади Восстания», сбивший напрочь доставшиеся многократно по наследству ноги — я говорил себе: тебя ожидает ад.

Тем не менее подобная не столько категоричность, сколько... наверное, и скорее всего, скоропалительная догадка там на асфальте в июне, в зной, в стенах бензиновой тари — вносила известный беспорядок в достаточно стройное суждение о том, что «вне нас мы не можем созерцать время, точно так же, как не можем созерцать пространство внутри нас». Соприкасаясь с ним, система ада распалалась на глазах, поскольку театральные законы единства отказывали ему тотчас, как только у студента на мундире отваливалась ротовая пуговица — свидетелю, как свидетельствуют источники, на переднем столе. То есть не так чтобы очень далеко, и чтобы глаза продолжительное время ее искали. Но ветра находили. Как я нахожу тебя повсюду. И что где-то было названо немой речью. Но я бы перешел к неуверенности. Астigmatизму. Кисельным платьям. Помню, как остановился и в самом деле понял, что это — страх. Форма его была беспримесна. Она была чиста, как таническое желание поэта встречи с математиком. Смущает другое — его менее патетическое исчезновение. Когда? Как так случилось? Разлука с прекрасным не перестает вносить тревогу в сердца. Но тогда почему возник и был, вступаая в какие-то орнаментальные (не сказать иначе) отношения с разного рода мнениями?

А потом, раздражающее «ты слышишь, как они говорят? — „слепой, потому и убей“». «Слышишь?» «Нет, очень плохо слышно». Здесь с акустичкой проискходят порой невероятные вещи. Например, человек, как потом стало известно, прошептавший сорок девятое имя бога за стволлом вяза у болдинцы Мечникова, был нигде и никем не услышан. Что, согласно, вызывает недоумение. В районе, где я проживаю, к слепым вообще весьма своеобразное отношение. К примеру, им запрещено произносить некоторые фразы. Не помню какие,

но не важно. И кем — тоже не ясно. Однако это существует, как утраата первого молочного зуба, война на пустыре за бетонными тубинтами.

Если, разумеется, позволить себе слабость и счастья какое-то из слов ключом к последующей истории, в то время как по ряду причин я на самом деле могу говорить о восстановлении движения смол в окрестностях лодочного вокзала и липкости черного — стальные трубы, бумага, камедь, котлы, праздное курение рабочих. Но... неуверенность. Что порой удручает.

И более того, по одной понятной кому-то причине. Где я не буду, когда не умру? Когда я умру, я не буду с тобой. Это то, что мне оставляет расудок. Да, слепым, насколько известно, воспринято говорить, например, что если они купят мясо, то непременно должны продолжить что-то о нежелании жить. Ты будешь в грамматических стражениях, как у ребенка, плывшего в мате-ринских водах, в его пальцах, в перепончатых семенах. Но что им известно о плотности, о которой однажды говорил, о той, неизменно смешной, когда стрести подшавами тальной снег и со-брать его таким образом, чтобы претягивал течению воды, следующей температуре окружающего воздуха. И не спелл, чтобы не убить. И не стучал в дверь. Лучше, повтори, музыка или сухой ретейник. Птица на подоконнике или скважистый ветер. Молоко, растянутое между шестами, или ключ, вскипающий уго-лением жакды в кислоте.

Мне не так мало лет, как вам кажется. С этого я предпо-лагал начать новую книгу. Ее продолжение не убедительно. Точнее, ни одно из них. При этом никто не понуждал к гонко-му разделению между «вам» и «тебе» языком и льдом — а где я? В инцидалах? В том, что «зовеся» моим именем, хотя какая разница между твоим и моим, между твоим телом и мо-ми буквами? Между твоими словами и моей кожей? Бесспорно, утратив из виду пуговицу, он провознесет (хотя не уверен, что так случится...): «никогда нельзя представить отсутствие пространства». Я могу. Но тогда исчезает смысл «я» и «ты».

А если я скажу это десять раз подряд, изменит ли это что-то в моей жизни? Расстояние между тобой и мной? Иные не так рассчитают ударения, — как, например, человек, не имею-щий к месту пребывания никакого отношения, разве что пла-

тит налоги за то, чтобы иметь право не быть слепым и чтобы ему весной сказали, что если он слепой, то пусть и убьет, а ес-ли не сможет, пусть валит нахуй. На этот счет есть много анек-дотов. «Я не местный». Отдалиться от дождя не представляется возможным.

Сюжет повествования несомненно легок, хотя речь уже давно идет о старом литературном приятеле Джезуальдо. Почему же тогда все в таких ступенных и темных тонах? Почему, вопреки всему, мы предпочитаем Монтеверди? На запрос Вернер Нерзог машина внезапно отослала на «сексуальные особенно-сти женских предпочтений». Все на русском. При этом все же-нятся, переезжают, покупают мебель, при этом я скажу со всей откровенностью, что лично знаю человека, написавшего роман о любви, — не представляю, как бы он сам об этом думал. О ры-бе, которую поймал совершенно случайно, — вошел в воду по пояс и шевелил пальцами ног в воде, а любопытный тескарь тут же клюнул на «движение». Относительно последнего существу-ет много точек зрения. Фильм Verner Herzog — «Bezdalld and Eve Voices». Это то, что мне нужно, или же то, что касается пред-почтений? Но кто скажет, что с ним было, когда на него, лежа-щего навзничь, лил дождь, — впрочем, это так и осталось скром-ной частью бумажных лент. Несмотря на то, что я люблю Москву, и то, что речь вовсе не о городах, поймите. Однако я ви-дел киноварь беговой полосы, я видел фигурки и нескончаемое растворение в аметистовом падении отдаленного неба, глядя из глаз, не моих, поскольку. Острова, как паутина в воздухе.

Глядя на дым из окна. На фигурки футболистов, которые меньше того, что предлагает память. У тебя есть возможность ускользнуть. Написать письмо и в этом найти оправдание. Ор-дальгься от дождя не представляется возможным. Я видел дождь в 1989 году в пустыне Сонора. Дождь стоял на тревне холма, и до него было не дотянуться. На ощупь он был как что-то. Жизнь на стороне спержанных. Я тогда написал «электрич. Кому? Где и когда в Стоктольме я их прочел, предавая чтение «кловами» о меланхолии речи и о «сомелье ночи»?

Пожирющие каргофель пишут: «Где она, кто была и бе-лела лицом, глазами, не шевела ни единым мускулом лица, ни

едными плавником, ножом?» Не знаю. В последнее время я с ними редко встречаюсь. Обычно они следуют и, надо сказать, непременно по западной стороне улицы. Если я иду по Литейному, они иногда находятя на расстоянии полукилометра от Влеескер. Когда пьешь кофе, рядом их не найдешь. Вместе с тем сведущие люди, случается, говорят, что видели их накануне в опере. Но здесь нет ничего, чтобы съесть меня что-то там скрывающимся! Во-первых, здесь не говорится: а) о любви, б) о тайне, в) о неведении. Поведение их не столько любопытно, сколько униженительно, конечно же, если иметь в виду определенные условия. Ситуацию разделения, точнее разнесения по «обе стороны».

Вместе с тем мне известны иные любопытные вещи, не говорю о том, что движение когда-то начиналось с установления двух точек и только потом, много позднее все изменилось, когда возникло то, что не может распределить «точку», обладать ими, присваивать их, то есть когда возникло пространство, переставшее принадлежать языку, в котором оно по-прежнему остается белой угрюмой комнатой, на стенах которой плещутся тени абрикосовых веток или же влетаются снизу, в очерчания смехотворной утвари отражений сада, остролистые и темные призраки ирисов. Я хотел их подарить тебе. И я знаю, что так было после того, как была закоптана книга в белые, сухие почвы.

— ...но это скорее от того, что время сейчас «одновременное», — говорю я. — Несется... и при этом едва ли не стоит на месте. Возможно, наверное, сказать, что оно разрастается, как кристалл, выстраивая собственные симметрии, тогда стирая их, возникая в ином направлении. Здесь полностью отсутствует инерция.

На что она отвечает: «Это, кажется, называется — „лучшее ручище время“».

Потом обнаружил, что они много мельче в соцсетях. Предполагал другое.

Возможно и так — мы жили в местах других мер, чисел, а их степи шевелили тени иной воды.

Откровенно говоря, я не верю в группу своей крови. Вытечет — стало быть, на пользу земли. Польза земли тоже кому-то на пользу. Последнее — бесполезно абсолютно. Пока не вытекла, возвращаюсь к истории, как начинался дождь и как из этого воз-

никли города под сенью зрачка океанов, о которых читал, когда видел ночные пожары за хребтами ночных садов, — или же произошла сушь. И как сушь произвела ветер со степей. И ты родилась за ней — во вселенной древней глины, которую потом соединяла путем числа, клея и босых ног на дороге.

Не жил там — не говори, что знаешь. Не горела куклура за на холмах — не говори, что знаешь, как откусать руки в огонь. Не слушал Джезуальдо в пять утра прельего июня лютого года — не говори, что забыл, как сверкает оконное полотно на восходе. И не звони, если не знаешь, что теперь речь про ветер со степей, чтобы ускользнуть в прореху имен, названий, отсчетов, придонных дней. Не заканчивай. Я не просил об этом. Пусть это будет всегда, поскольку это невозможно. Однако, если ты говоришь про ветер со степей, ты должен знать законы распределения горячих и холодных воздушных масс во времени. Также внутреннюю температуру растений и влияние их на перемещение потоков.

Вместе с тем возвращаемся к тому, что было обещано. Выставка фотографа. Бумата, изображающая не-бумажные измерения, несколько лиц в тени стены, пыль на полу. Много фигур в дверном проеме. Свет напротив, в глаза. Будто они вошли и вышли, рассыпаясь, оставаясь в себе, — но рассеялись в шепоте, который был явственной голосов и сквозняка, предшествующих им.

Клевер не пылал — можно было услышать, — не только клевер не пылал, но и паруса на горизонте были недвижны, как огонь во мнимом лесу, условный огонь, который находится возможности соединения одного с другим, и не только уничтожает, но этого было мало, говорили они, этого было недостаточно. Важно было другое. Это не потому, что мне не нравится мироздание или еще что-то, — мне, настаиваю на том, нравится упомянутое слово.

Не помню, но фотографии тоже были.

СОДЕРЖАНИЕ

Анна Глазова Исключение реки.	5	«Такая стеклянная поверхность, очень прочная...»	49
«Нищие знают, что, когда со ступней у них срезана...»	11	«А мне не убежать никуда. Во-первых...»	50
«Повременим. Листья, сухость, отсутствие насекомых...»	14	«Как ресница в реснице рябит небо...»	51
Реки Вавилона	15	«Мы забыли про белые крылья конвертов...»	52
Политику	17	«отходишь от прибор, получаешь...»	53
«Озерный надломленный деп...»	19	«слепителен обод снега в обиходе вдоха...»	54
«Разные бывают landscapes, разные виды...»	20	Умирать в ветреный вечер	55
Все было видно как днем	21	«С вина снимаешь кору из стекла...»	56
«Бог дает все — Им...»	23	Буквы	57
Любовь	24	«День ветрен и зернист в извилистом стекле...»	58
«Предвосхищая себя в деревьях или завенении...»	25	Пред-элегия	59
Ослабление признака	26	Одно из объяснений	61
Прогноз погоды	28	«Летерь ясно; облаком перечное немеет дерево...»	62
«Совершенные в создании штилей...»	29	«Летерь очевидно: великолетные птицы океана...»	63
«Отпустив руки на мокрые плечи шиповника...»	30	«Не следует особенно доверять поэтам в том...»	65
«Вдоль всех этих черных деревьев...»	32	«Веществом близким сумма небес округла...»	66
«Возможно, в этом году первый снег иной, нежели в...»	33	На юг	67
«Не сон, а цветение невидимого остатка...»	34	«Как ты думаешь, — говорит, — разобью локтем окно...»	69
«Ветри грезят омертвевшими временами ясности...»	35	На берегах исключенной реки	71
«Я знаю, ты ненавидишь тех, кто знает французский...»	37		
За шесть часов до пробуждения, если не спать	38		
Ни слова в ответ	39		
По многим причинам	41		
Счет	43		
Вечер	44		
«Роняем монеты, когда тащим деньги из кармана...»	45		
«Сопласен, даже не ярость, — это так же смешно...»	46		
«Цвет твоих волос...»	47		
«Я расскажу все. Только не спрашивай, про что начну...»	48		

Литературно-художественное издание

Драгомощенко Аркадий Трофимович На берегах исключенной реки

Идея серии: Д. Борисов, Н. Охотин

Ответственный редактор: Е. Савина

Макет серии: С. Митурнич

Обложка: Ю. Лескис

Компьютерная верстка: А. Иванов



Объединенное гуманитарное издательство
103051, Москва, ул. Перовка, 26, стр. 8
Факс: (095) 924-5761, тел.: (095) 744-3170
е-mail: info@ori.ru

Книги издательства ОИИ можно приобрести:

м. Чистые пруды, Кривоколенный пер., д. 10, стр. 5, кафе «Вилингаа»;

м. Чистые пруды, Погатовский пер., д. 8/12, стр. 2, клуб «Проект О.Г.И.»;

Кафе «Пирогги»: м. Площадь Революции/Дубянка, ул. Никольская, д. 19/21;

м. Охотный ряд/Театральная, ул. Большая Дмитровка, д. 12/1, стр. 1;

м. Перово, Зеленый прот., д. 5/12

Заказать книги ОИИ можно: тел. (095) 744-3171, е-mail: info@ori.ru

Оптовые продажи: тел. (095) 744-3171, е-mail: info@ori.ru

За пределами России наши книги можно купить: www.estet.ru.com

Подписано в печать 29.06.2005. Формат 84×108 1/32. Гарнитурa OfficinaSetif.

Объем 2,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 1000 экз.

Заказ №